

Экономика-язык-культура

С именем В. Найшуля в последние десятилетия нередко связывается предложение обществу оригинальных идей. Например, в середине 80-х годов, когда с подачи Г. Попова в советский научно-публицистический обиход вошло выражение "административно-командная система", именно Найшуль заявил, что говорить об этом уже некорректно, ибо советское хозяйствование уже выродилось в своеобразную практику "бюрократического торга". И сегодня возглавляемый им коллектив Института национальной модели экономики (ИНМЭ) занят разработкой оригинальной теории, ставящей своей целью поиск методов оживления национальных архетипов, способных стимулировать процессы самоорганизации общества на рыночных началах. Теория эта лишь разрабатывается, но ее создатели согласились за "круглым столом" журнала поговорить об основных принципах подхода к проблеме. Среди них директор ИНМЭ **Виталий Аркадиевич НАЙШУЛЬ**, доктор филологических наук, профессор Ростовского государственного университета (РГУ) **Георгий Георгиевич ХАЗАГЕРОВ**, научный сотрудник ИНМЭ **Ольга Васильевна ГУРОВА** и преподаватель РГУ **Светлана Владимировна ХАЗАГЕРОВА**. Наиболее интересные моменты обсуждения обобщены редактором отдела социально-экономических проблем журнала "Общественные науки и современность" **Наталией Михайловной ПЛИСКЕВИЧ**.

Естественно, что новая теория, тем более находящаяся в стадии разработки, всегда вызывает много вопросов, несогласия, желания поспорить. При этом, на наш взгляд, ценным ядром предлагаемой теории является поиск в российской национальной "почве" реальных пластов, способных не только принять "семена" рыночного либерализма, но и обеспечить их ускоренный рост. Эта тема представляется одной из центральных для нашей страны. По сути, от того, удастся ли создать отечественный вариант рыночного либерализма, прежде всего зависят успех или провал реформаторских усилий последних лет. Поэтому мы приглашаем наших читателей присоединиться к разговору, начатому за публикуемым ниже "круглым столом".

В. Найшуль: Среди уроков последнего десятилетия, по-моему, один из важнейших заключается в том, что между экономическими достижениями страны и ее культурой существует явственная взаимосвязь. Вообще-то экономисты-культурологи проблемами этой взаимосвязи занимаются давно, но как раз сейчас появилось много новых данных, иллюстрирующих процессы взаимовлияния культуры и экономики, позволяющих по-новому взглянуть на них. На рубеже 1980-х и 1990-х годов в целом ряде государств началось постсоциалистическое реформирование, и сегодня мы видим, что есть большие различия в этом процессе, в западно- и восточно-христианских странах. Если западнохристианские общества (причем как протестантские, так и католические) более или менее успешно преобразуют свою экономику, то общества восточнохристианские оказались в положении неудачников и это наблюдение отнюдь не замыкается границами СНГ. (Вспомним и Болгарию, и Румынию, и то, что далеко не в лучшем виде находится экономика Греции - единственной православной страны ЕЭС. Уже один этот факт заставляет задуматься над вопросами взаимосвязи экономики и культуры.

Конечно, можно было бы сделать вывод, что западнохристианские общества просто более предрасположены к восприятию схем, стимулирующих экономической рост, что это специфика именно их культуры. Однако последние десятилетия дали

немало примеров восприятия эффективных рыночных принципов странами с самыми разными культурными традициями. Это достаточно эффективно сделали конфуцианские страны. Важны и успехи католических обществ: ведь раньше утверждалось, что в отличие от протестантов они не очень расположены к рыночной экономике. Тем не менее справились и они. То есть культурная рецепция рынка произошла во многих культурах и произошла очень эффективно. Результат состоит в том, что темпы экономического роста во многих странах, вступивших на рыночный путь, оказались более высокими, чем в протестантских странах. Все эти события показывают, с одной стороны, что процесс культурного освоения рыночных отношений для стран непротестантской культуры отнюдь не фатально обречен. Но с другой стороны, опыт последнего десятилетия свидетельствует, что в нашем культурном ареале на этом пути возникают очень тяжелые проблемы.

Можно по-разному смотреть на причины такой ситуации. Сначала рассуждали о том, что у нас не достаточно предпринимательских навыков. Потом стали говорить, что вообще-то мы движемся довольно энергично, но у нас не хватает государства, судебной системы и т.д. Однако сейчас, как мне представляется, наступает осознание того, что в нашем обществе существует сложная культурная проблема рецепции рынка.

Н. Плискевич: Правильно ли я понимаю, что рассмотрение усиленно дискутируемой сегодня проблемы о роли государства в формирующейся в России экономике вы хотели бы перенести в более глубокие социокультурные пласты?

В. Найшуль: Это лишь малая часть темы. Завершение и имперского, и коммунистического периодов истории России означает, что возможности многих государственных механизмов оказались исчерпанными. Значительная их часть обречена, и не потому, что они нам нравятся или не нравятся, а потому, что они неработоспособны. Добавлю еще одну проблему. Уже много веков мы живем в интеллектуальном "раздрае". С одной стороны, мы хотим, чтобы отношения народа с властями были семейными, завидуем тому, что власти англосаксонских стран "свои" для населения. С другой стороны, соглашаемся с тезисом об отсталости от Запада и с тем, что для достижения эффективности мы должны ломать себя через колено, тем более что история наша дает такие примеры. Не будем обсуждать, надо ли было ломать себя в прошлом. Важно другое: для того чтобы быть эффективным сегодня, **наше государство должно стать прозрачным и самоочевидным для народа.** Без этого не будет современной рыночной экономики! Это одна из центральных концепций нашей работы. Такая трансформация просто немыслима, если мы сохраним прежнее по сути своей государство.

Н. Плискевич: Но ведь это государство как раз и опирается на отечественные культурные традиции. Не случайно ведь революция 1917 года, прошедшая под лозунгом слома старой имперской государственной машины, в результате в своем коммунистическом варианте очень скоро восстановила прежние конструкции, даже еще более отточила их.

В. Найшуль: Действительно, и имперская Россия, и коммунистический Советский Союз опирались на укорененные в отечественной культуре ценностные архетипы (или, говоря по-русски, устои народа). Выжимать из народа все соки при отсутствии ресурсов управления можно только на такой основе. Это, так сказать, бесплатный бензин государственной машины. Но в разное время используются разные архетипы, различные устои. И Российская Империя, и СССР были заняты прежде всего решением операциональных государственных макрозадач, предполагавших концентрацию усилий огромной страны в ограниченных пределах при командном управлении из центра. Так были осуществлены, например, индустриализация, создание мощного

ВПК, раскрестьянивание и т.п. Для решения этих макрозадач были применены ценностные макроархетипы, поддерживающие личные жертвы во имя единой общей цели. И. Сталин воззвал к архетипам великой державы, защиты Родины от врагов и получил необходимую общественную энергию как для управления страной, так и для хозяйственной деятельности.

Однако сегодняшние задачи, диктуемые современной экономикой, невозможно решить, опираясь на макроархетипы, поскольку их решение предполагает индивидуализацию разнообразных усилий. Сама глобальная задача резкого роста экономического потенциала страны распадается на великое множество микрозадач, которые в конкретных обстоятельствах должны решать конкретные люди. Для их решения нужна активизация микроархетипов, обеспечивающих народной энергией все стороны правильного экономического и околоэкономического поведения: недорогой, качественный, предприимчивый труд; надежные и четкие деловые отношения между равноправными людьми; недорогое и эффективное восстановление порядка; решение проблем местного самоуправления и т.п. Такими архетипами была бедна мобилизационная имперская Россия, не говоря уж об СССР, но это не значит, что они отсутствуют в русской культуре. Ими была богата доимперская Русь. И мы считаем, что именно на ее ценностном языке придется общаться с народом, чтобы решать современные государственные задачи. Кстати, замечу, что ценностный язык доимперской Руси не уживается с государственным языком администрирования даже в отдельно взятом предложении. Их соседство рождает противостественные, дикие сочетания типа "Министерство экономики Всяя Руси".

И все же как раз потому, что стоящую перед страной задачу можно разбить на миллионы микрозадач, культурная архаика оказывается в чем-то созвучной новой эпохе. Ведь очевидно, что сейчас нет народа, горой стоящего за власть. И нет свободных ресурсов. На что в такой ситуации можно рассчитывать? На то, что нефть немного подорожала? Но такая ситуация временна, да и по масштабам проблем, стоящих перед страной, это ничтожный прирост. Людей надо за что-то "зацепить", чтобы они стали почти бесплатно лучше работать, действовать, наводить порядок и делать это с энтузиазмом. Откуда-то он должен взяться. Это очень тяжелый вопрос, и связан он с тем, какова у нас культура, какого рода язык и какого рода экономика.

Г. Хазагерев: Когда мы говорим о культуре, мы имеем в виду некий семиозис, некие знаковые системы, а в языке, кроме знаков, ничего нет. Поэтому я хотел бы начать с понятия о языковой картине мира. Ведь язык - не просто "упаковка" каких-то мыслей, а своего рода координатная сетка, которая "надевается" на действительность. А посему от языковой картины мира очень многое зависит. Не случайно в ходе наших изысканий мы пришли к выводу о необходимости новой научной дисциплины - *лингвоэкономики*, развитие которой можно рассматривать в двух направлениях - от языка к действительности и от действительности к языку. В случае движения от языка к действительности речь идет о попытках вычленив из языка те архетипы, которые были бы корректны по отношению к языковым представлениям русского культурного человека. Не так давно академик Д. Лихачев высказал идею о концептосфере русского языка. В нашей ситуации можно сформулировать задачу следующим образом: все отечественные экономические, политические и т.п. модели должны быть корректными, по крайней мере щадящими по отношению к этой концептосфере и в то же время прозрачными, естественными для русского человека, понятными для него.

Что же касается движения от действительности к языку, то в данном случае речь идет о проблемах языкового строительства. Очевидно, что тот общественно-политический язык, которым мы пользуемся, находится в глубоком кризисе. По сути, единственным литературным вариантом описания политической и экономической реальности пока остается советский язык. Этот язык, со своей картиной мира, со своими идеологемами был адекватен предыдущей эпохе. Он был достаточно выверен внут-

ренне, непротиворечив и соответствовал объективной действительности. Но сегодня совершенно очевидно его расхождение со многими новыми реалиями. В повседневной жизни в образующиеся бреши наскоро пытаются направить поток "вестернизированного" языка, скороспелую рецепцию западных институтов, недодуманную, недоверенную, сплошь и рядом конфликтующую с привычной советской картиной мира. Попытки внедрять английские заимствования, нередко требующие страниц специальных и лингвистических комментариев, лишь обостряют языковые противоречия.

Усугубляется ситуация и господствующим в средствах массовой информации специфическим ёрническим жаргоном с размытой ценностной картиной мира, с плохой различающей способностью. Он привносит в мир соотечественников элементы нравственного релятивизма, амбивалентности оценок, но отнюдь не помогает прояснить суть идущих процессов. То есть мы не имеем сегодня языка, достаточно точно различающего политические, экономические и иные смыслы и при этом прозрачного для рядовых носителей русского языка.

В. Найшуль: Добавлю, что, поскольку новые времена сопровождались резким ростом горизонтальных связей, стал широко использоваться язык той среды, в которой эти связи активно развивались все предшествующие десятилетия, - уголовный язык.

Г. Хазагеров: Все сказанное, на мой взгляд, свидетельствует о насущности задачи построения нового языка, как бы новой разметки политического, экономического и иного пространства. Образно говоря, речь идет о создании политического, экономического и т.п. букваря. Конечно, концепция, лежащая в основе такого букваря, может быть лишь экстралингвистической. Но у нее есть и лингвистическая составляющая: чтобы быть адекватным, букварь должен быть национальным, т.е. максимально корректным по отношению к другим частям русской картины мира, "ненасильственным" для концептосферы русского языка.

В целом идею такого букваря должно рассматривать с позиций национально ориентированной концептуализации существующей реальности. В связи с этим становится актуальным круг проблем, представляющий для лингвистики не только прикладной, но и фундаментальный интерес. Их можно было бы обозначить как теорию парадигмальной речи (или теорию образцов). *Во-первых*, это проблемы, связанные с членением политического и экономического универсума для представления его в образцах. *Во-вторых*, проблемы выбора лексики и синтаксических конструкций для парадигмальной речи. *В-третьих*, задачи, обусловленные построением парадигмального букваря, выступающие как особый лексикографический жанр. Хотелось бы также подчеркнуть, что в своей работе мы отошли от принципа историзма в том его понимании, в каком он сложился за последние два столетия. Мы не пытаемся возрождать нечто архаическое. Наша цель - *нащупать в прошлом и восстановить то инвариантное, что всегда присутствовало в русской жизни и в русской культуре, дать ему возможность лучше проявиться.*

Понятие "инвариант" как элемент абстрактной системы языка в отвлечении от ее конкретных реализаций было сформировано в лингвистике XX века. В том же веке из естественных наук в нее пришло весьма продуктивное понятие гомеостаза, т.е. системы, которая сама стремится поддерживать параметры своего существования. Если рассматривать национальную культуру и язык как гомеостаз, то возникает проблема сохранения инвариантных точек культуры, без которых гомеостаз перестанет быть самим собой. Поэтому мы, рассматривая тот или иной политический либо экономический институт прошлого или настоящего, ту или иную языковую конструкцию, считающуюся архаичной либо, напротив, неологизмом, подходим к ним не в диахроническом плане, не на основе временных критериев, а в плане чисто прагматическом. Нас интересует, может ли этот институт или языковая конструкция сегодня работать,

быть использованной для активизации тех макроархетипов, о которых говорил Найшуль.

Поэтому нас не шокирует, например, слово "бояре", такие реальности прошлого, как "собор" или "боярская дума". Дело не в том, что связано с этими словами и понятиями в реальной русской истории и что по неизбежным историческим законам безвозвратно миновало, а в том, чтобы увидеть за ними некие вечные несущие конструкции, которые всегда были и будут в отечественной истории. Проблема же реального исторического бытия этих конструкций - проблема среды, в которой они существуют. Где-то они проявляют себя сильнее, где-то - слабее. С этих позиций мы рассматриваем и власть, и все, связанное с первым лицом в государстве. В данном смысле оказывается, что и царь, и генеральный секретарь, и президент могут рассматриваться как варианты некоего вечного инварианта.

В связи с этим возникает проблема построения такой общественно-политической терминологии, которая была бы достаточно точной, оставалась бы терминологией, но вместе с тем была бы прозрачной для носителей языка и позволяла бы работать в нашей внеисторической парадигме. В своих конструкциях мы используем преимущественно архаическую лексику, но отнюдь не из любви к старине. Ведь для того, чтобы терминологизировать любую предметную область, нельзя использовать слова, относящиеся к основному словарному фонду, находящиеся "на слуху". Это, как правило, слова многозначные, вызывающие бездну ассоциаций. Их нельзя превратить в какие-то простые, однозначные обозначения. Поэтому, придумывая термины, ученые всегда обращаются к заимствованиям из какой-то далекой языковой периферии.

Например, известно, что научная терминология в основном комбинирована из латинских и древнегреческих корней. Это произошло как раз по той причине, что вводившие ее в практику ученые не были ни латинянами, ни греками. Причем интересно, что в Древнем Риме последовательно использовали термины греческого происхождения и избегали своих. Переход к латинской терминологии произошел в более поздние времена, когда и Древний Рим, и Древняя Греция стали чем-то далеким и периферийным для сознания. То есть для построения добротной системы терминов надо пользоваться языковыми конструкциями, достаточно от нас далекими, которые выглядели бы плоско, не давали бы объема, а были бы просто значками.

Здесь уместно провести аналогию с басней. Ведь мы отстранение, упрощенно воспринимаем всех басенных животных - зайцев, волков, лис, медведей и т.п. - как некие знаки определенных человеческих качеств. Точно так же должен восприниматься любой термин. Скажем, греческое слово может иметь десяток значений, но как у термина значение у него должно быть единственным. Допустим, слово "вандал" для нас просто означает разрушителя - именно потому, что мы очень мало знаем о реальных вандалах как о народе и используем это слово как ярлык. Термины и есть ярлыки, для них мало подходят слова "ближней" реальности.

Однако в области политической терминологии мы наталкиваемся на противоречие: с одной стороны, термин должен быть точным и легко выделяться как элемент терминосистемы, с другой - он должен быть "прозрачным" для носителей национального языка и удобным для обычной речи. Невозможно полноценно участвовать в референдуме, не зная, что означает слово "референдум".

С. Хазагерова: У проблемы есть и еще одна сторона: использование иноязычной лексики в политическом языке, особенно при введении новых политических институтов, провоцирует в массовом сознании монополию чужого политического опыта. Например, в нашу жизнь и язык вошло слово "парламент", чего раньше не было, и естественно, что источник знания о нем - представление о бытовании этого института в другой национальной культуре. У одних эти представления ясные, у других - достаточно смутные. И в то же время эту появившуюся реальность не назовешь обычным словом из русского языка, как нельзя назвать первое лицо государства "начальником",

а референдум-"вопросом". По той же причине неэффективна и калька: мы не называем компьютер "вычислителем", а "бизнесмен" звучит лучше, чем "деловой человек".

Но периферия лексики - не только иноязычные слова или неологизмы типа громоздких аббревиатур. На этой периферии находятся и устаревшие слова, такие как "царь", "бояре", "вече", "дума", "собор". Здесь мы также сталкиваемся с уплощением смысла, свойственным словам, не включенным в активное словоупотребление. Вместе с тем эта периферия понятна практически всем. Включение таких слов в политический язык вместе с новыми реалиями не только не инициирует представлений о примате иностранного опыта, но, напротив, предполагает постоянную сверку с наиболее устойчивыми институтами русской истории и стереотипами, усвоенными с детства. При этом общая печать архаичности будет выделять их даже в том случае, если они станут употребляться для обозначения реалий повседневной политической жизни.

Г. Хазагеров: На мой взгляд, поскольку многие из подобных слов воспринимаются сквозь призму фольклора, пословиц, сказок и т.п., они очень удачны для разметки нового политического пространства. И встает задача его моделирования, более того, наполнения моделей жизнью. Этому и посвящена наша работа по созданию политического "букваря", разработке системы стандартизированных конструкций, из которых возможно построение политического универсума, т.е. исчисление мира в понятных, прозрачных для русского человека понятиях и формулах. Мы хотим дать людям как бы лубочные картинки типизированных политических и экономических ситуаций, которые, с одной стороны, позволяют достичь большой точности (потому что, составляя их, мы над каждым словом долго думаем), а с другой - доступны и прозрачны для любого человека русской культуры.

О. Гурова: В предыдущих выступлениях были кратко очерчены проблемы в области экономики и языка. Я же хотела бы сказать, что с аналогичными проблемами мы сталкиваемся в сфере государственного строительства, функционирования государственных институтов. Сложившаяся у нас система государственных институтов, по сути, скопирована с тех или иных зарубежных образцов. На Западе они продемонстрировали свою эффективность, позволяют решать встающие перед теми или иными обществами проблемы. У нас же картина иная. Мы видим, что одни из этих институтов успешны, в то время как другие совсем не работают, а третьи функционируют как-то по-своему, не так, как их зарубежные аналоги. Думаю, это связано с соответствием либо несоответствием заимствованных институтов нашим архетипам, нашему политическому конструкту, т.е. тем деталям и нюансам, которые присущи именно русской государственной культуре.

Н. Плискевич: Нельзя ли привести некоторые примеры универсальных, с вашей точки зрения, конструкций?

О. Гурова: В результате нашей работы, как представляется, удалось выделить ряд универсальных формул, восходящих к истокам русской государственности. Так, русскую государственную идею можно определить как "Стояние за Правду", в качестве заповеди русского консерватизма хорошо подходит выражение "Не нами положено, лежать ему вовек", а заповеди русского парламентаризма - "Без Правды Боярской Царь Бога прогневит".

Кроме того, в апреле 1999 года нами были предложены "Скрижали Царя", содержащие 21 тезис, в которых в краткой форме выражены разные аспекты отношений царя с народом, основные принципы царской власти. Например, "Земля спрашивает с Царя, а он держит ответ перед Землей", "Своей службой Царь славит Русскую Землю, а Земля чествует за это Царя", "Народ стоит горой за Царя в

нелегкую годину", "Когда народ требует ответа, Царь держит ответ перед народом", "Когда народ бунтует, Царь его казнит или милует", "Когда народ грешит, Царь его правит", "Когда Царь грешит, народ ропщет", "Служивые люди служат Царю Верой и Правдой, а он жалует их за добрую службу и казнит за воровство" и т.д.

Интересно, что этот текст мы просили оценить 100 случайно отобранных студентов 10 московских вузов - технических и гуманитарных. 65 согласились письменно прокомментировать тезисы, 80% из них положительно отнеслись к идеям и языку "Скрижалей". Причем содержание комментариев показывает, что студенты адекватно оценивают предложенные фразы. Сам этот эксперимент свидетельствует, что предложенный нами код легко разгадывается, он вполне понятен носителю русской культуры. Мы разработали также и другие собрания свойственных нам принципов устройства жизни. Правда, апробацией их еще не занимались.

Мы видим, например, что президент у нас - относительно работоспособная фигура, поскольку он частично опирается на архетип царя (и тем, кстати, отличается и от своих западных собратьев). А вот парламент представляется наименее работоспособным из имеющихся у нас институтов, поскольку его деятельность не поддерживается отечественными архетипами. На Западе ситуация иная - там есть партии, отражающие определенные интересы и вырабатывающие консенсус в парламенте, тем самым приводя общество к некоему единому знаменателю. У нас же защита отдельных групповых интересов национальными архетипами не поддерживается, а потому депутатам в своей деятельности не на что опереться. Отсюда задача - создать работоспособные институты, опирающиеся на национальные архетипы.

Здесь возможны три пути. Первый - путь, который мы называем функциональной историей. Речь идет о поиске подходящих аналогов в нашей истории, но, разумеется, не об исторической реконструкции. Так, если речь заходит о соборе, то не о таком, каким он был в далеком прошлом, а о том, чтобы *современный аналог исходил из четко представленных о том, что делал собор, для чего он был нужен, какова была его функция*. Разумеется, сегодня бессмысленно углубляться в аспекты темы, органично связанные с жизнью сословной доимперской Руси, но в то же время есть и детали, которые могли бы работать и сегодня. Например, можно говорить о том, что соборы собирались не просто так, а для решения конкретных вопросов, причем определенного уровня, о принципах отбора участников собора и т.п.

Второй путь - рецепция. Разумеется, можно привести удачные примеры заимствования западных образцов. Но сам этот факт лишь свидетельствует о том, что данные образцы смогли найти для себя здесь какие-то основы, на которые они могли опереться. Очевидно, что лишь в таком случае рецепция может быть успешной. Наконец, есть третий путь - живая жизнь, способная рождать что-то новое, то, что опирается на имеющиеся реалии, но чего не было ни в нашем, ни в зарубежном прошлом. Такие ситуации надо отслеживать.

Конечно, можно обратить внимание и на то хорошее, что было в 300-летний имперский период нашей истории. Однако имперская Россия - страна министерств и ведомств, т.е. преобладания вертикальных связей. Нам же нужно прежде всего реанимировать механизмы горизонтальных связей, самоорганизации общества. И если мы считаем, что архетипы народа - вещь очень консервативная, то имеет смысл подумать, могут ли те институты, с которыми мы встречаемся в историческом прошлом страны, работать сейчас, и если да, то какой вид они должны принять сегодня.

Н. Плискевич: Нельзя ли как-то конкретизировать, что вы имеете в виду, говоря об исторической реконструкции?

О. Гурова: Думаю, очень интересный пример - собор. Всю его деятельность можно разделить на 12 стадий, причем при таком анализе получается, что функционирование собора опирается на определенные архетипы, существующие и сейчас. Хотя, разу-

меется, многих деталей сегодня мы не найдем. Скажем, в те времена были бояре, был царь, избирались представители сословий. Сейчас всего этого нет, нет сословного общества. Но значит ли это, что данная конструкция не может работать в наши дни? Ведь для чего созывали собор? Для решения того, что сейчас бы мы назвали конституционными проблемами, требующими широкого согласия в обществе, согласия того, что прежде называлось *Земля*. Ныне перед Россией стоят именно такие проблемы, а механизмом их решения и был собор.

Кстати, бессознательная тяга к механизмам такого типа просматривается в нашей новейшей истории. Вспомним, например, историю первого съезда народных депутатов СССР. Думаю, подсознательно он мыслился как некий аналог собора. И избирались туда делегаты не только населением. Значительную квоту получили уважаемые в обществе организации - творческие союзы, различные сообщества ученых и т.п. Все это должно было повысить степень общественного признания форума. Однако в данном случае не был соблюден один из существенных принципов, присущих собору. Дело в том, что собор созывали всегда для решения какой-то конкретной проблемы. В данном случае этого не было, и обилие тем не дало возможности даже выделить некие основные проблемы.

Правда, в случае со съездом народных депутатов сработал совсем другой, присущий нашей культуре глубинный стереотип. Люди пришли на съезд не как избранные на собор, а как ходоки. Это тоже известная функциональная роль в отечественной культуре. Ходоки пришли на съезд, чтобы высказать народную боль. Они высказывались, слушали друг друга, происходило некое единение. Депутаты выплеснули свои беды, но дальше оказалось, что не понятно, *во-первых*, какие в результате надо принимать решения, а *во-вторых*, какова роль самих депутатов (ведь эта роль у нас в культуре не определена). Поэтому дальнейший ход событий, предполагающий конкретные действия, приобретал все более грустный характер, а ярким пятном осталось лишь само воспоминание о первом Съезде народных депутатов СССР, когда поистине вся страна, прильнув к телевизорам или радио, ловила каждое слово, произносимое с трибуны.

В. Найшуль: Я бы хотел немного добавить к сказанному, потому что существующая в стране политическая практика как раз демонстрирует кризис несоборного решения проблем. Вот простой пример. Государству постоянно нужны деньги для выполнения всех обязательств, которые ему "вчиняют". Но в то же время никто не хочет платить налоги. И государство все время оказывается в роли "крайнего": налоги не платят, а деньги с государства требуют все. Государственная Дума вроде бы обсуждает ситуацию, принимает законы, а реального результата нет. Потому что для его достижения должно быть достигнуто консенсусное согласие людей или хотя бы значимой их части. Только в этом случае мы можем прийти к ситуации, когда не платить налоги будет делом постыдным.

Н. Плискевич: Но ведь неуплата налогов - это тоже укоренившийся национальный архетип. Веками у нас не считалось грехом обмануть барина или государство.

В. Найшуль: Думаю, это, скорее, не архетип, а привычка. Об этом есть много пословиц, но много их и о несправедности уклонения от своих обязанностей и перед барином, и перед царем. И наша нынешняя беда состоит в том, что нет мотивации для второй, положительной части взаимодействия властей и человека. Вот сейчас много говорится, что государство, В. Путин должны найти деньги для оплаты внешних долгов. Но ведь не Путин, а Россия, все мы должны найти эти деньги! Путин же должен так организовать процесс управления, чтобы все общество и каждый его член дал согласие на выделение на эти нужды определенных средств и сам добровольно в соответствии со своими возможностями принял участие в этом процессе.

Думаю, что для решения подобных вопросов у нас необходим механизм типа собора. И очень сложный отдельный вопрос - как, по каким принципам делегировать на него представителей от общества, чтобы, *во-первых*, они были способны принять консенсусное решение, а *во-вторых*, чтобы впоследствии никому просто по моральным соображениям нельзя было бы уклониться от их выполнения. Это так же, как, например, при защите Родины. Каждому в отдельности выгодно не идти воевать и не посылать своих детей, но когда есть концессуальность, когда "Земля поднялась на борьбу с врагом", тогда мать, спрятавшая своего сына, - исключение, а не правило. Например, во время Второй мировой войны крестьяне особенно на фронт не рвались, но если уж их призывали, то шли и дрались по-настоящему, не уклонялись от выполнения своего долга. Вот такого консенсуального поведения надо достичь.

По сути, все вопросы, в которых сегодня наше государство терпит провал, - это соборные вопросы. Не будучи способным выработать общественный консенсус, оно становится "мальчиком для битья". От него требуют просто несовместимых вещей. Например, все, от коммунистов до правых, требуют снижения налогов, но при этом никто не выступает с предложениями, какие бюджетные расходы надо сократить или упразднить совсем. Я думаю, что экономист и не должен выступать с такими предложениями. Его задача - дать квалифицированную справку о том, каковы налоги и расходы в тех или иных странах. Но ответ на вопрос, какие расходы срезать и какие налоги собирать, должно дать общество в целом. И механизмом получения такого ответа может быть собор. В России же министерств и ведомств, каковой она была и при Империи, и при Советской власти, такого механизма не было.

Н. Плискевич: Но как в наши дни реализовать идею собора? И чем собор в нашем социокультурном контексте отличается от некоего демократически избранного сообщества людей, образующих парламент или Государственную Думу?

О. Гурова: Чтобы решение собора было выполнено, нужно, чтобы с ним согласились все граждане, представляющие все слои общества. Нужно единомыслие. Оно может быть достигнуто, если состав участников собора будет авторитетным для всех. Если посмотреть на исторический опыт, то мы увидим, что состав участников собора изменялся в зависимости от того, какие вопросы на нем ставились. Например, если речь шла о присоединении каких-то территорий, то очевидно, что это касалось каждого человека и должны были быть представлены все группы населения; когда же вопрос касался торговых дел, основным было представительство от тех, кто с ними связан. Ясно, что должно быть адекватное представительство групп, авторитетных точек зрения, известных в обществе специалистов по обсуждаемому на собрании вопросам. Их мнение должно быть значимым в обществе, чтобы затем все приняли к исполнению выработанное решение.

Любопытно, что в истории бывали случаи, когда люди не хотели являться на собор, чтобы потом попытаться уклониться от выполнения его решений под тем предлогом, что решение принято без них, с ними не посоветовались и т.п. Их чуть ли не силой туда доставляли. Но важно, что все участники собора брали на себя обязательство выполнять общее решение. Правда, важно подчеркнуть и то, что в те времена существовало сословное общество и сословия имели своих авторитетных представителей, которых и отправляли на собор. Здесь огромная практическая проблема, хотя уже есть и некоторые теоретические подходы к ее решению.

В. Найшуль: У нас есть проблема структурирования общества: оно "нарезано" на некие административные куски - рабочие, крестьяне, служащие, есть их характеристики. Но у них нет явно выраженной культурной идентификации. Нам надо уходить от стереотипов, выработанных в эпоху министерств и ведомств. И это кое-где уже происходит. Например, сошлюсь на В. Каганского, у нас начали появляться *Земли*. Иногда они похожи на современные области, но не совсем совпадают. Иногда же *Зем-*

ля и область совершенно различны. Скажем, *Земля Сибирская*, включающая много областей¹.

Или еще одно понятие, восходящее к старым архетипам, которое мы нащупали, - *Звания*. Это такое новое групповое понятие, которое употребляется с глаголом должен. Например, у вас не вызовет отторжения фраза "мать должна ухаживать за ребенком". Это неоспоримо. Но кому она должна? Оказывается - всем. И если мать плохо ухаживает за своим ребенком, любой может не только ее укорить: "А еще мать!", т.е. подвергнуть, как говорят социологи, некоей рассеянной санкции. Понятие "Звание" не совпадает с профессией. Например, звание "ученый" есть, а звания "математик" нет. Математик никому ничего не должен, а у "ученого" есть определенный долг. Иначе могут сказать: "А еще ученый!". Звания, с нашей точки зрения, образуют в российском обществе еще одну важную структуру.

Мы занимаемся поиском таких внутренних структурных подразделений. И здесь я хотел бы сказать об удивительной силе русского языка. Какие-то понятия образовали некие валентности, и они связываются с определенными глаголами. Скажем, звания и глагол должен. Эта связь в языке не потеряна, хотя в жизни звания остались разве что в вооруженных силах и в научной среде. Но все же мы эти сочетания сразу выделяем. Например, "астроном должен" не звучит, а сочетание "работник должен" вполне понятно. Могут сказать: "Вот работничек!". При этом выражение "рабочий должен" представляется каким-то атрибутом советского плаката. Такого рода выражений люди в общении друг с другом никогда не произнесут. Поразительно, но русский язык чувствительность к таким давним вещам не потерял. Он сохранил эти связи, эту структуру вечной, вневременной Руси. Разумеется, многое в языке изменилось, но по-прежнему какие-то сочетания в нем естественны, а какие-то - нет.

О. Гурова: Возвращаясь к теме собора, отмечу, что идея реанимации такого института, на мой взгляд, не утопична. Но понятно, что для этого нужно правильно сформулировать вопрос для обсуждения на этом форуме, правильно собрать его участников. И если поставленный вопрос будет настолько важен, что активизирует национальные архетипы, то мы вполне можем получить соборное решение в наши дни, хотя соборы в стране не собирались столетия. У нас для этого многое есть: и настоятельная необходимость, и возможность его собрать.

Думаю, не стоит отбрасывать тот факт, что собор - национальный институт, который в нашей истории действительно эффективно работал. А вот в том, что касается парламента, существует много вопросов. Видно, что существующий парламент "провис" в наших ценностях, но не понятно, что можно предложить взамен.

Однако основная сложность, на мой взгляд, связана с поиском институтов не на общенациональном, а на низовом уровне. Долгие годы людей принуждали по самому ничтожному поводу обращаться в какую-то инстанцию, и они просто отвыкли от самоорганизации. То есть автоматически, самопроизвольно они не станут создавать какие-то новые институты для решения своих реальных бытовых проблем на местах. Мне кажется, что именно здесь нас ждут большие сложности. Ведь память об общенациональных институтах, таких как тот же собор, достаточно сильно запечатлена в культуре - в языке, в литературе, в пословицах и т.п. Каким-то образом она присутствует в сознании. А низовые институты запечатлены гораздо меньше. Даже тем из них, память о которых сохранилась, в советскую эпоху специально придавалась отрицательная каннотация. Власть была выгодна всеобщая зависимость от нее, она крайне отрицательно относилась к любым проявлениям самостоятельности.

В. Найшуль: Я бы добавил также, что у нас и местные институты являются институтами "дальнего порядка", т.е. объединяющими людей, не знакомых друг с дру-

¹ В какой-то степени с данными идеями перекликается один из первых указов Президента Путина об образовании на территории страны лишь 7 округов во главе с некими "наместниками" - представителями Президента - *Прим.ред.*

гом. Мы - страна больших городов; современный россиянин живет прежде всего в крупных городах. (Я даже ввел такой термин - *Городская Русь*.) И их культура для нас основная, массовая. Отсюда сложности в организации самоуправленческих институтов на малых пространствах. Ведь не секрет, что люди у нас лишь в исключительных случаях и, как правило, по экстренному поводу могут самоорганизоваться даже в пределах одного подъезда.

Мы живем в такое время, когда надо налаживать неформальные отношения между людьми, причем в условиях выстраивания заново горизонтальных отношений и перестраивания вертикальных. Важно выстроить национальную систему подобную тому, что в английском языке обозначается словом "responsiveness", т.е. власть (местную или общенациональную), находящуюся в какой-то форме зависимости от тех, кем она управляет. У нас сложилось порочное деление на "мы" и "они", при котором власть декларирует одно, а внизу делают другое. В здоровом обществе "мы" и "они" должны сотрудничать. Конечно, такое сотрудничество было подорвано уже в имперские времена, а в советские разрыв лишь усугубился. Процесс саморегуляции в обществе был сведен к минимуму. И сегодня нужные механизмы надо создавать заново.

Что-то мы пытаемся перенять на Западе, но сталкиваемся с тем, что хорошо работающее там часто не приживается у нас, и люди недовольны. При этом они даже лишены возможности пожаловаться: парткомов нет, а для того чтобы отважиться на судебную защиту своих прав, надо быть героем. Да и сама нынешняя система судебного преследования, нацеленная прежде всего на лишение преступника свободы, в конечном счете плодит рецидивистов. Кстати, несовершенство нашей системы наказаний дает, по-моему, яркий пример того, как, казалось бы, архаичные языковые средства открывают пути к исправлению этой системы. Вдумаемся, какова должна быть цель уголовного наказания? Как говорит выдающийся специалист по уголовной системе В. Абрамкин, в русском языке есть точные, хотя и устаревшие выражения - "острастка и вразумление".

Это, по моему мнению, подводит нас к качественным выводам, по сути, к открытию. Оказывается, что слова типа "острастка и вразумление" - емкие слова, наиболее точно характеризующие цели современной уголовной политики. Но в то же время *это слова из иной картины мира*. Трудно представить себе вышедший из недр МВД документ, в котором бы присутствовали эти слова. Однако без такой, идущей из глубин российской истории, картины мира нельзя построить общество на основе самоорганизации. Мы просто не получим ни правовых, ни экономических решений, если по-прежнему будем действовать в системе министерств и ведомств. В то же время попытки внедрить идущие из глубин веков понятия приведут к разрыву привычной картины мира. Если вы займетесь "острасткой и вразумлением", то не в рамках МВД. Не важно, займет ли его место "приказ" или что-то еще, важно, что это будет качественно иной, нежели МВД, орган. И никто в Москве не будет знать, сколько человек в тот или иной момент находится в заключении, по той же причине, по какой сейчас президент не знает, сколько бутербродов каждый день съедается. Ведь, за исключением небольшого числа "всероссийских злодеев", огромное большинство правонарушений - местные. И в борьбе с ними, да и в их профилактике ведущую роль должна начать играть самоорганизация.

Но это - совсем другая жизнь. В такой жизни просто нелепо, скажем, вопрошать: почему правительство ничего не делает для подъема экономики? А почему оно должно что-то делать? Подъем экономики - прежде всего забота самих людей. Однако такой взгляд нам сегодня кажется странным. Он из другого мира. И дорожки к этому миру открывает русский язык, в котором, как выясняется, много сохранилось от прежних времен.

Любой, живущий в России и владеющий русским языком, знает, какие слова сочетаются друг с другом, а какие - нет, чувствует это. И именно поэтому филология, эколингвистика стали для нас столь важными. Русский язык - вечно русский институт,

способный транслировать тончайшие культурные импульсы. Поэтому, опираясь на языковой анализ, мы получили весьма интересные вещи. Например, структурное разделение даже современного общества, то, о чем я уже говорил, - *Звания, Земли*. Есть и другие наработки, но они находятся еще не в столь отрефлексированном состоянии, чтобы о них говорить.

Можно отметить еще один важнейший момент - политические ипостаси русского народа. Согласно нашим изысканиям, он проявляет себя в трех ипостасях - *Земля, Народ и Люди*. Если мы говорим о консенсуальном движении всего общества, то речь идет о *Земле*. Например, "вся Земля поднялась на борьбу с врагом". Когда речь заходит о *Народе*, то имеется в виду масса людей со стадным эмоциональным поведением. Так что *Народ* ничего не может решить, а *Земля* решить может. *Народ* - нечто эмоциональное, у него есть чувства, например, ненависти или любви, он может на что-то отозваться, что-то поддержать, но решить не может. У него нет для этого алгоритма. Наконец, *Люди* организуются отношениями авторитетности.

Эти три ипостаси дают возможность сделать анализ политического процесса гораздо более осмысленным. Например, становится очевидным, что отечественная политическая конструкция предполагает избрание *Царя, Президента* именно *Землей*, а не *Народом*. В применении к президентским выборам это означает, что настоящие выборы первого лица государства должны быть близки к консенсуальным, т.е. 51-52% для данного случая не достаточны. Должны быть 70% и более. Тогда это будет подлинный президент. И в русской культуре такие вещи четко прослеживаются.

Г. Хазагеров: Я бы хотел привести и такой пример. Все у нас понимают, что такое "*вождь*" и "*царь*". Ясно, где начинаются и кончаются полномочия царя и что делать при какой-то дисфункции. *Царь* сопрягается с понятием *Земля*, а *вождь* сопряжен с понятием *Народ*. *Царь* правит и согласовывает свои действия с *Землей* — неким национальным единством, обладающим притом и культурным разнообразием, и определенными базовыми ценностями. *Вождь* же - тот, кто ведет куда-то. Но в культуре нашей такой функции не было, а потому совершенно не понятно, что делать, когда, например, он нас куда-то не туда завел.

Н. Плискевич: Вы стремитесь найти опору рыночным и демократическим преобразованиям в глубинных пластах отечественной культуры. Однако существует и точка зрения, согласно которой как раз культурное своеобразие России не приемлет рыночных реформ. Отсюда и все неудачи последнего десятилетия. Например, новосибирский исследователь О. Бессонова даже предложила достаточно развернутую теорию раздаточной экономики, характерной для нашей страны.

В. Найшуль: Я не согласен с подобными теориями, и не только применительно к России. Все живые, крепкие культуры способны существовать в разнообразных условиях, в том числе и в рыночных. По-моему, русская культура рождена для рыночного устройства. Есть культура, особенно тысячелетняя культура, и есть стереотипные представления о культуре. Например, считается, что американцам свойственно торговать, вести бизнес и т.д. Но вот во времена Второй мировой войны американцы попали в ситуацию, когда надо было воевать с серьезным противником, и они, отложив свой бизнес, пошли воевать. Был всплеск патриотических состояний, это можно видеть, в частности, по их фильмам тех времен. К сожалению, исследователи слишком часто принимают сложившиеся привычки за константу.

Дело не в том, что свойственно или несвойственно той или иной культуре, а в том, что переход к модернизированному обществу не может быть легким. Нет такой страны, которая легко совершила этот переход, даже среди государств-первопроходцев. Вспомним хотя бы огораживание в Англии. Разве это не был мучительный процесс? Тем более труден он для стран, где движение к рынку не зарождалось и нормально

развивалось, а форсировалось. Но такое движение - вопрос выживания в современном мире. Можно, конечно, причитать, что оно нам не свойственно. А разве конфуцианской культуре оно свойственно? Будто бы Япония, Сингапур, Южная Корея веками занимались мировым бизнесом!

Новая экономика сводится к достаточно простому набору поведенческих действий и идей. По сути, требуется лишь одно - научиться обслуживать друг друга, понять, что твоё благосостояние зависит от того, насколько хорошо ты обслужил других. Это просто, а потому может осуществляться автоматически. Но сейчас столь простые требования существуют в виде образов другого языка, а мы должны корректно выразить все на нашем языке. Думаю, данная задача в чём-то эквивалентна задаче поэтического перевода. Есть некое стихотворение со своими звучанием, ритмом, рифмами, словосочетаниями, благодаря которым оно и воздействует. Чтобы донести его до носителей другого языка, нельзя ограничиваться подстрочником. А наши сегодняшние попытки перенести в Россию западные понятия рыночной экономики - не что иное, как подстрочник.

Например, известное выражение "private property" мы переводим как "частная собственность", но у нас это выражение для простого человека, по сути, ничего не обозначает, а там оно гарантирует, что эту собственность не отнимут. Не звучит по-русски "Не троньте мою частную собственность!". Тут неточный, подстрочный перевод, в результате которого получилось выражение, лишённое культурной нагрузки оригинала. Значит, надо найти свой поэтический эквивалент, который, очевидно, может быть в каком-то смысле неточен, как бывает неточен язык автора стихотворного перевода, передающего исходное ощущение другими словами.

Интересно, что *private property* переводится на русский язык двумя разными терминами - "имущество" и "собственность". "*Собственность*" - своё, причём обязательно личное (не важно что это - рука, штаны или комбинат), и этот факт не зависит от общественных установлений. А вот государственная, церковная и любая другая собственность "юридических лиц" - ошибка. В русском языке такого быть не может. У "юридических лиц" может быть только "*имущество*", которое уже зависит от общественных установлений. Раз есть два различных слова вместо одного, значит, и система понятий русской экономики будет другой.

А вот если перевести *public goods* не как "общественное благо", а как "общее благо", мне кажется, получится эквивалент, который сильнее оригинала. Причём "общее" - очень точное слово, означающее, что нечто касается всех нас, а концепция "общего блага" в русском языке вполне либеральна и более строга, чем исходная концепция "*public goods*". Впрочем, правильные и неправильные переводы - тема отдельного большого разговора.

Г. Хазагеров: Сейчас много говорят о константе культуры. Константа - запас адаптационных механизмов. Поэтому вопрос стоит не так - подходит или нет наша культура к рынку либо ещё к чему-то. Рынок предъявляет свои требования, а константы - то, что нам позволяет жить. В языке это тоже проявляется. Язык живет, он приспособился даже к советским временам. Речь идет о витальности культуры, о подборе средств, делающих ее жизнеспособной, о витальности языка.

Поэтому ставить вопрос о том, подходит или нет нам рынок, - значит расписаться в нежизнеспособности культуры. У нас же речь должна идти о запасе выживаемости, о приспособляемости. И в этих случаях как раз надо оживить константы культуры, заставить их работать, найти то, что в новой ситуации привлекательно для русской национальной картины мира. В этом смысл нашей работы.